

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ | АНДРЕЙ ГЕЛАСИМОВ
ИРИНА МУРАВЬЕВА И ДРУГИЕ

МЫ ПАМЯТИ ПОБЕДЫ ВЕРНЫ

ЛУЧШИЕ РАССКАЗЫ
СОВРЕМЕННЫХ
АВТОРОВ О ПОБЕДЕ



**Роман Валерьевич Сенчин
Андрей Валерьевич Геласимов
Юрий Михайлович Поляков
Юрий Васильевич Буйда
Ирина Лазаревна Муравьева
Сергей Анатольевич Самсонов
Ариадна Борисова
Валерий Валерьевич Панюшкин
Михаил Левитин**

Мы памяти победы верны (сборник)
Серия «70 лет Великой Победы!»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9598042

*Мы памяти победы верны : лучшие рассказы современных авторов о Победе / Юрий Поляков, Андрей Геласимов, Ирина Муравьева и др.: Эксмо; Москва; 2015
ISBN 978-5-699-79976-3*

Аннотация

Свидетелей и тем более участников той уже далекой Победы 1945 года сегодня осталось уже не так много: уходят наши старики, а вместе с ними уходит подлинная память о тех героических днях, ставших для мира поворотными. Спустя 70 лет многие забыли о значении Победы и легко верят в новые версии истории. Но современные писатели – Юрий Поляков, Ирина Муравьева, Валерий Панюшкин, Андрей Геласимов, Сергей Самсонов и другие авторы этого сборника – искренне и правдиво воссоздают атмосферу военного времени, психологию людей, обстоятельства, в которых – между жизнью и смертью – приходилось принимать самые непростые решения. Для многих авторов вдохновением служила биография его собственной семьи, поэтому у книги совершенно особенная аура. Она делает рассказы не просто интересными, но передает истинное ощущение преемственности поколений, ответственности за прошлое и будущее нашей страны и народа.

Содержание

Ирина Муравьева	5
Валерий Панюшкин	18
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Мы памяти победы верны (сборник)

© Муравьева И., Панюшкин В., Геласимов А., Борисова А., Сенчин Р., Левитин М.,
Самсонов С., Буйда Ю., Поляков Ю., 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015

* * *

Ирина Муравьева Ты мой ненаглядный

Лазарю исполнилось одиннадцать лет, а Зиги – девятнадцать, и пока был жив отец, никто даже и не обсуждал, где красавец и умница Зиги выучится на адвоката. Разумеется, в Вене, а не в их провинции. И деньги на то, чтобы старший сын стал адвокатом, можно было выкроить: отец, после того как мыловаренный завод за долги перешел от него к кузену Иосифу, остался там управляющим. Долгов уже не было, меньше ответственности.

Умер он почти внезапно. Вечером поднялась температура, в груди заклокотало и засвистело, пришел доктор Унгар, покачал головой, прописал таблетки, сироп от кашля, спиртовые компрессы, лимонное, с медом, питье и сказал, что наведается завтра. Завтра больному будет лучше. Мама сидела у отцовской постели, маленькой рукой гладила его пылающий сухой лоб. К полуночи отец начал бредить, сорвал одеяло, пытался встать, кричал, что его ждут в Венской опере, но вскоре затих, губы его вдруг стали ярко-лиловыми. Мама разбудила Зиги, он выскочил из бывшей детской, где спал теперь один, – Лазаря перевели в маленькую боковую комнату, – набросил поверх пижамы пальто и побежал к доктору Унгару, который жил на соседней улице. Доктор Унгар пришел очень скоро, но уже не застал отца в живых. Мама раскачивалась из стороны в сторону, как стрелка в их черных настенных часах. А маленький голубоглазый Лазарь, не понимая, что отца больше нет, смотрел на него не отрываясь и ждал, что отец вот-вот зашевелится под одеялом.

Через два месяца после отцовской смерти мама настояла на том, чтобы Зиги, у которого закончились летние каникулы, вернулся учиться в Вену. Зиги уехал, а Лазарь с мамой остались. Денег было очень мало, и мама продала все свои украшения. Весной у неё появился ухажер – красивый, со смуглым точеным лицом, вдовец по имени Наум Айнгорн, человек очень нервный, вспыльчивый, но добрый, хотя непрактичный, неловкий и мнительный. У Наума Айнгорна своих детей не было, и, когда мама вышла за него замуж, он решил, что теперь будет относиться к осиротевшему Лазарю как к родному сыну. Но не получилось. Мама, прежде такая веселая и беззаботная, выйдя замуж на Наума, стала осторожной, присматривалась к своему быстро взрослеющему сыну, боясь, чтобы его не обидел новый муж и чтобы быстро взрослеющий сын не сделал чего-то такого, от чего новый муж начнет раздражаться и хлопать дверями. Потом родилась в доме девочка Лия, и вроде бы всё успокоилось. Жили они тогда уже не под австрияками, а под румынами, но говорили по-прежнему по-немецки, и гимназия, в которую ходил кудрявый голубоглазый Лазарь, считалась, как раньше, «австрийской». В тридцать седьмом Зиги вернулся из Вены. Он стал подающим надежды адвокатом, снял себе прекрасную квартиру, запонки на его манжетах блестели ярче, чем зрочки невесты из-под свадебного покрывала, и каждый вечер гибкий, тонкий, с причесанными на косой пробор волосами молодой адвокат пропадал либо в театре, либо в гостях у таких же, как он, адвокатов или докторов медицины. На одной из вечеринок он встретил Грету и бешено сразу влюбился. Грета немного косила, и это придавало её белому, белее, чем сливки, лицу особую прелесть. Даже когда Зиги, вставши на одно колено, делал ей предложение, она, полураскрыв нежные губы, смотрела не прямо ему в глаза, а словно бы в сторону, и Зиги от этого так волновался, что слова «люблю» даже не произнес.

Наум постоянно жаловался ему на строптивого Лазаря, и Зиги часто наведывался в гимназию, где обсуждал с учителями поведение брата, за которого чувствовал большую ответственность. Потом прибегал на футбольное поле, где Лазарь обычно стоял на воротах, и драл его за уши. Уши горели. В доме Наума постоянно не хватало денег: он был реставра-

тором старинной мебели, и если бы не его мнительность и постоянное раздражение на заказчиков, вполне можно было бы жить хорошо, но он не умел. Из города Сталино, бывшей Юзовки, двоюродный брат его Михель, помощник дантиста, писал ему письма, в которых рассказывал, какая судьба бы была у Наума и всей их прекрасной семьи, решились они только сюда перебраться – в советский огромный промышленный центр, где всё для людей и всего всем хватает.

– Я в СССР не поеду, – сказал гибкий, тонкий, заносчивый Зиги. – И Грета моя не поедет.

Никто никуда ехать не собирался. Рано утром поднималось солнце над их старым городом, в котором пахло тем, чем пахнет здоровая жизнь: плодами из сада, землею и сеном, и даже лошади трясли гривами от радости, даже приговоренные к смерти быки на скотобоине вдруг начинали надеяться, что их не убьют ни сегодня, ни завтра.

В марте тридцать девятого Зиги купил автомобиль «Фольксваген». Соседи прилипали к окнам, когда белокожая Грета садилась за руль. «Малыш» с крутым лбом, золотистый «Фольксваген», вдруг трогался с места и мчался, как ветер, а синее небо слегка отражалось в его ярких стеклах. Не прошло и года, как румыны передали их город Советам. И все до единого: куры, коровы, и люди, и дети – все стали советскими. Лазарь как раз заканчивал гимназию, ему исполнилось восемнадцать. Грета ждала ребенка, и беременность делала её еще белее и прозрачнее, как будто она наливалась росой. У Лазаря появилась девушка, которую звали Сусанной, но Лазарь и все обращались к ней: «Сюся». Сусанна за пару месяцев освоила русский язык и наизусть читала Лазарю Сергея Есенина: «Холюбая кофта, синие глаза, никакой я прафты милой не сказал...» Лазарь почти ничего не понимал, но на Сюсю смотрел с застенчивой жадностью. В апреле начались аресты. Забрали доктора Унгара, и соседка, страдающая бессонницей, увидела через окно, как остановилась черная машина, из которой вылезли двое, потом, уже у самого подъезда, к ним подошел дворник с какой-то женщиной, и тут же один из тех, которые приехали на машине, позвонил в дверь. Открыла прислуга, растрепанная, в белом ночном платье, её грубо отпихнули, и все четверо скрылись в темноте прихожей. Соседка погасила лампу и продолжала смотреть. Через полчаса вывели под руки доктора Унгара, который испуганно озирался, и шляпа ездил по его голове то в одну, то в другую сторону, как будто вся кожа большой его лысины была очень скользкой.

Через неделю пришли к Зиги. Старинные венские часы пробили три. Грета, которая должна была скоро родить, только что заснула: она засыпала под утро, боялась. Услышав резкий звонок в дверь, Грета подбежала к окну и распахнула его, как будто желая выпрыгнуть с шестого этажа на мощенную булыжником улицу. Зиги обхватил её обеими руками и начал оттаскивать. В дверь всё звонили. Тогда он открыл, прижимая к себе – кричащую, в белой широкой рубашке, с большим животом – молодую жену. Его увели. Грета, выскользнув тенью, дрожа, завела золотистый «Фольксваген», но долго сидела внутри неподвижно, как будто забыла вдруг адрес родителей. Через неделю сосед шепнул маме, что видели Зиги в окошке теплушки, в которой куда-то везли арестованных. Но этот сосед мог легко перепутать: таких же, как Зиги, – с проборами, – юношей в теплушках тогда увозили десятками.

Лазарю стало боязно разговаривать даже с Сюсей, хотя они были близки с ней и уходили далеко в горы, где Сюся его целовала так крепко, что на нежной шее Лазаря, и без того раздраженной бритвой, оставались огненные следы. В мае у Греты родилась мертвая девочка. Сюся объясняла Лазарю, что если Зиги ни в чем не виноват, то он очень скоро вернется, но жить так роскошно, как жили они, и ездить на этом их автомобиле в то время, как люди вокруг голодают, само по себе преступление. И Лазарь не спорил, хотя точно знал, что люди в их городе не голодают. Над своей кроватью Сюся повесила портрет товарища Сталина и часто смотрела на этот портрет, мечтая поехать в Москву и кататься в метро, пока не надоест. Любовь их, однако, росла и кипела, она была больше всего остального, важнее

всего, что бывает на свете. В предгорьях Карпат каждый день попадались под ноги босых пастухов отпечатки их тел на зеленой и пышной траве. Потом шли дожди, и трава распрямлялась.

Война началась на рассвете, и к тридцатому июня всё, что было советского, ушло, убежало, распалось. Город оккупировали те же самые румыны, которые год назад отдали его товарищу Сталину. Начался такой хаос, что Лазарь совсем растерялся. Он был белокурый, задумчивым юношей, хотя и поднимал штангу такой тяжести, что, когда она, взлетев над его головой, застывала, на потном лбу Лазаря вдруг проступали лиловые жилы. Теперь оказалось, что жизнь – это что-то, похожее тяжестью на его штангу. Победители-румыны пьянствовали и грабили дома тех, которых, как Зиги и доктора Унгара, давно увезли не известно куда. Боялись, что скоро исчезнут продукты. Боялись прихода немецких частей. Боялись арестов, боялись расстрелов.

Сюся, полная решимости, сказала своему молодому другу, что ждать больше нечего. Пора уходить, пробираться к своим. Лазарь не понимал, где свои, где чужие, его тошнило от страха, но не за себя одного, а за всех: вокруг убегали, прощались и плакали. Никто – ни один человек – в это время не знал, что с ним будет.

Ночью они ушли. Сюся сколотила небольшую группу: с ними уходил друг Лазаря Эрих, веселый, застенчивый и узкоплечий, прекрасный скрипач, со своей сестрой Бертой и мужем её пианистом Ароном. А ночь была жаркой, томительно-нежной, и горы Карпатские смутно белели своими высокими чистыми травами, которые даже от запаха крови и то сразу сохли. Мама долго целовала его, и последнее, что запомнил Лазарь, были её слезы, которые лились по его лицу и шее, затекали за воротник, их было так много, что вся его майка и даже резинка трусов стали мокрыми. Наум, дрожа всем телом, притиснул Лазаря к себе и начал что-то бормотать, просить прощения, что не сумел стать ему ближе отца, но Лазарь его крепко обнял и тихо сказал ему: «папа». А Лия, сестра, темноглазая девочка, с круглой головой, на которой во все стороны росли немыслимой густоты, черные, с синим отливом, запутанные волосы, не плакала, только смотрела, кусая свои очень пухлые губы.

Они уходили пешком, в темноту, не зная, не подозревая, что это судьба их ведет по шоссе, где румыны, по-прежнему пьяные и бесшабашные, еще не успели расставить посты.

В Виннице, до которой они добрались за четыре дня, их долго допрашивали. Город должны были вот-вот сдать, люди разбегались, но вскоре возвращались обратно, поскольку бежать было некуда. Прокуренный начальник военкомата впился красными глазами в лицо Лазаря.

– Почему он по-русски не понимает? – спросил он у Сюси. – Ведь вы же советские люди?

– Но он не успел еще, – с тревогой ответила Сюся. – Ведь мы же недавно – советские люди.

– Но ты-то вот, видишь, успела, – заметил начальник и вдруг перевел на неё красный взгляд.

И Сюся, всегда возбужденная, яркая, наполненная своей первой любовью, вся сжалась от этого красного взгляда.

– Останешься здесь, будешь переводить, – сказал он. – А этих всех порознь.

Пришла немолодая женщина в погонах и короткой юбке, открывавшей её набухшие, как разваренная капуста, колени, и увела с собой Сюсю.

Никто из них больше не видел друг друга.

Когда начальник военкомата, изголодавшийся по женскому существу, велел привести Сюсю к себе на квартиру, он не собирался её убивать. Он просто хотел её сильного тела.

И ждал её: в белой несвежей рубаше, расстегнутой так, что видна была грудь, заросшая старой, седой, редкой шерстью.

– Садись, – сказал он. – Будешь пить?

Достал два стакана, налил из бутылки. У Сюси глаза стали черными ямами.

– Но-но! Без истерик, – сказал он. – На, пей.

Она замахала руками:

– Не буду.

– Как хочешь, – сказал он и выпил.

Потом оглядел её всю. Как лошадка стояла она перед ним: мускулистая, с крутыми боками и выпуклой грудью, с кудрявой, лохматой, как грива, косой.

– Давай только живо, – сказал он. – Раз-два. Законы военного времени.

И сразу толкнул на кровать. Сюся вывернулась и ребром ладони изо всей силы ударила его по лицу. Он отшатнулся от неожиданности, и она, не давая ему опомниться, вонзила растоптанный грубый каблук с железной набойкой в живот командиру. Тогда он её застрелил. Будешь знать.

Тою же ночью Лазаря, не подозревающего, что Сюся уже часа два как зарыта в нагретую летнюю землю, записали рядовым в одну из отступавших военных частей. Он всех потерял. И его потеряли. Жизнь стала войной, а война стала жизнью. Ему говорили: «Стреляй». Он стрелял. Кричали: «В атаку!» И он шел в атаку. При этом внутри него не было ни одного ясного чувства, ни одной связной мысли. Пару месяцев назад он горячо любил маму, Сюсю и плакал от страха за Зиги. Теперь он и не сомневался, что мамы и всей их семьи давно нет, а думать о Сюсе ему стало страшно. Он был еще сильным, но очень худым, курил, ненавидел спиртное. Солдаты учили его бранным русским словам.

Прошел почти год. За всё это время у него ни разу не было женщины, но несколько ночей подряд снилась какая-то незнакомая девушка, ничем не напоминавшая Сюсю, с грустными глазами. Он гладил её лицо, целовал эти глаза и чувствовал, как её нежные веки дрожат, словно крылышки пойманной бабочки. Хотелось бы встретиться с ней, но и девушки не существовало.

– Ты – милая, милая, – шептал он по-русски и сглатывал ком не то своих слез, не то крови. – Ты самая милая.

Он был очень голоден. Сильно, всё время. Однажды, в окопе, он вспомнил инжир, которым его угостил отец Греты. Инжир был морщинистым и маслянистым.

– Он так хорошо помогает от кашля, – сказала тогда мама Греты. – Ты любишь инжир с молоком, милый Лазарь?

В конце сорок второго года из Кремля поступило распоряжение: снять с фронта бывших румынских граждан и отправить их за Урал в трудовую армию.

* * *

Ему повезло. Небеса так решили: чтобы он еще жил, жил и жил. Еще был нетронутый свиток событий, ночей, дней, ночей и заново дней, которые ждали его. Еще была я. Мне досталось держать его руку в последнюю ночь.

* * *

Лазарю повезло, потому что его отправили не в лагерь, а на поселение в деревню Чалки. До Чалок от станции, на которой остановился товарный состав, всю ночь шли пешком. Высоко над головами громоздились серые облака, луна, перед тем как растаять, взглянула на них равнодушно, вздохнула: «Помрёте вы все».

А он вот не помер. Бои начинались, едва рассветало. Они наступали на лес так, как прежде на них наступали враги в серых касках. Они воевали с деревьями. Высокие, в колючем серебре, сосны знали, что их ждет. Черные существа копошились внизу и были похожи на насекомых. По двое они подходили к сосне, топтались вокруг и потом, хрипло крикнув и сплюнув на снег чем-то желтым и горьким, похожим слегка на смолу, принимались пилить. Дерево умирало медленно. Охватывающая его боль поднималась от корней, сведенных судорогой, до самых вершин. Вершины, тускло освещенные еще не разгоревшимся по раннему часу солнцем, начинали тревожно шуметь, пытаясь привлечь к своей смерти внимание, проститься навеки, и тут же в ответ им шумели другие, такие же, ждущие смерти, вершины. Бои шли до самого позднего вечера. Голодные и озлобленные люди продвигались всё глубже и глубже в заснеженную тьму чужого мира, безжалостно убивая его коренных жителей, которые, став мертвецами, обрубками, лишившись ветвей, с тонким, жалобным скрипом, давали связать себя и очень сильно, отчаянно долго еще сохраняли сосновый свой запах.

Лазарь был молодым и выносливым. Если бы не постоянное чувство голода, он, может быть, оледенел бы всем сердцем, забыл обо всём, обо всех. Но голод его будоражил. От голода он становился живучим. От голода он не мог спать. Изба, куда его с первого дня подселили к старухе Анисье, из раскулаченных, давно схоронившей детей, мужа, внуков, высокой, с ресницами, снега белее, с морщинами, глубже следов от полозьев, была вросшим в землю, трухлявым строением. Он ел свой паёк за синей ситцевой занавеской, нарядно отгородившей топчан, на котором он спал, от печи. Анисья, прямая, в платке до ресниц, толкла в медной ступке сухую крапиву. Её добавляли в муку. Съеденный за один присест кусок серого, всегда слегка влажного хлеба усиливал голод. Он даже не чувствовал вкуса того, что быстро прожевывал, сразу же сглатывал. Анисья ему говорила:

– Попей. Вода холодит и тоску разгоняет.

Он слушался, пил. Анисья могла бы его ненавидеть: её сыновья давно сгнили в земле, а он, – не понятно чей сын, – был жив и дышал. Но в ней была жалость, хотя и негромкая: на всё нужны силы. Посреди ночи он просыпался от голода, Анисья храпела во сне. Тогда он вставал, выходил, стуча зубами, в ледяной чулан, где висели связки лука и несколько связок грибов. Если бы мама или Зиги – в скользком, сиреневом, шелковом галстуке – его сейчас видели! Он воровал лук, осторожно отколупливал сморщенные чешуйки и быстро жевал их, потом сосал кислый коричневый гриб и, чувствуя, что уже хочется спать, ложился опять на топчан. Во сне к нему шли Сюся с Гретой, и Лия, и отчим, и мама, и Эрих с Ароном, но их относил порывами ветра.

– Жанился б ты, Лёша, – сказала Анисья. – Мушшина тут есть. Из Москвы. Их эвакуировали от фашистов. Яврей, как и ты. С дочерами. Кудлатые! Они тебя, может, подкормят.

По пятницам Лазарь ходил в комендатуру за двенадцать километров в областной центр Юзгино и там отмечался.

– Ишшо не сбежал? – добродушно спрашивал его одноногий комендант с прокуренными, желтыми, жесткими, как старые иглы у сосен, усами. – Ну-ну. Далеко не сбежишь...

Эвакуированные жили в бараках на берегу Тути, речонки широкой, но мелкой, безрыбной.

– Дак как я пойду? – с немецким акцентом, но так же тягуче, как здесь говорили, спросил он однажды. – Зачем я им нужен?

– Старухи сказали: «Жанить надо Лёшу. А то он помрот у тебя. Пушшай лучше к этим явреям идот. Поскоку у них пишша есть».

– Откуда у них сейчас пишша? – спросил он.

– Дак умный мушшина, яврей. Пошел счетоводом в колхоз. Ему лошадь дали. А там, может даже, корову дадут. В бараке живет, а особо от всех. Хороший барак, самый лучший. И с хлевом.

На рассвете в пятницу Лазарь долго мыл ледяной водой из кадки отросшие за зиму русые кудри.

– Ишшо не сбежал? А? – сказал одноногий. – Ну-ну, далеко не сбежишь...

К двери барака вела протоптанная в глубоком, твердом снегу дорожка. На самом пороге – ободранный веник: смахнуть с себя снег, чтобы не наследить. Ему стало стыдно за то, что он голоден, но он пересилил свой стыд, постучался.

– Входите, открыто, – сказал хриловатый девический голос.

В низкой комнате с бревенчатыми стенами стояла кровать, покрытая вязаным покрывалом, стол, две лавки. Топилась печь и сильно пахло сосновой смолой. Маленькое кривое окно наполовину заросло с улицы лебяжьим сугробом.

– Вы к папе? – спросил этот голос.

Лазарь не отрывал взгляда от своих валенок и не видел той, которая разговаривала с ним.

– Чего вы молчите?

Он поднял глаза. Девушка лет двадцати, хорошенькая, с коротким прямым носом и большими лучистыми глазами смотрела без тени улыбки. Её хриловатый простуженный голос мешал тёмно-синим лучистым глазам.

– Вы кто? По какому вопросу? – Она начала раздражаться.

Из-за занавески, которая разгораживала комнату, выскочила пожилая, в мелко-серебристых кудряшках на лбу и висках, горбоносая женщина с вязанием в крошечных пальцах.

– Вы к Якову Палычу? А он в конторе. – Она улыбнулась неловко, пугливо.

– Я на поселении тут, – сказал Лазарь.

– Анечка! – захлопотала кудрявая. – Предложи молодому человеку снять верхнюю одежду. Проходите, пожалуйста. Мы знаем, как трудно живут поселенцы. Садитесь. У нас тут тепло.

Он снял во многих местах продырявленный ватник, который был очень велик, и всё под него задувало. Сел, сжимая ватник в руках, и опять опустил глаза.

– Хотите попить кипятку с горным медом?

Из-за той же самой занавески вынырнули еще двое: девушка постарше, чем первая, с глазами поменьше, неяркими, светлыми, и с ней очень похожая на Анечку, скорее всего, её мать, – вся седая, с лицом таким робким, как будто за жизнь никто никогда её не приласкал.

– Да нет, – сказал он. – Ничего не хочу. Пришел познакомиться.

Горбоносая, с серебристыми кудряшками, поставила перед ним чугунок с горячей картошкой, миску, пододвинула блюдце с крупной серой солью, потом сестра Анечки, по-прежнему не двинувшейся с места, нарезала на доске вынутый из печи горячий, с темно-золотой коркой, хлеб. Голова у него закружилась так сильно, что Лазарь слегка пошатнулся на стуле. Анечка подхватила его под локоть маленькой, но жесткой рукой.

Обжигаясь и торопясь, он ел растрескавшимися пересохшими губами картошку, отгрызал слабыми зубами хлеб и проглатывал, не разжевывая, а три женщины сидели напротив, подпершись, и смотрели на него. Анечка стояла, прислонившись к печке тоненькой спиной, и глаза её из темно-синих, лучистых, становились черными. Когда он наконец слотнул последние крошки, Анечка принесла банку густого, темного мёда и чистую ложку.

– Вот, – громко сказала она. – Попробуйте. Вкусно.

От сладости и крепкого запаха меда у него опять закружилась голова, и его начало сильно тошнить. Он испугался, что его сейчас вырвет, и вся эта сытная, прекрасная еда выва-

лится из живота наружу, а он будет голоден так же, как прежде. В дом, стуча обмороженными валенками, вошел старый, но крепкий человек с внимательным взглядом, блеснувшим на Лазаря. Он понял, что это хозяин, и встал.

– Спасибо, – сказал он. – Я ел у вас тут.

– Соня, – спросил вошедший. – Кто это?

– Иаков, – заволновалась женщина с серебристыми кудряшками. – Мы сами не знаем, Иаков! Пришел, мы его накормили... Он из поселенцев.

– Еврей?

– Я еврей, – сказал ему Лазарь.

– Садитесь, – вздохнул Иаков и пожевал лиловыми с мороза губами. – Садитесь и кушайте. Что вы вскочили?

Он ел мёд, запивал его кипятком и быстро, блаженно пьянел. Глаза его сами закрывались, заволакивались изнутри слезами, и дико хотелось смеяться от радости. Анечка осторожно отодвинула от него ополовиненную банку.

– Вам плохо же будет!

Он покорно кивнул, облизнул ложку и аккуратно положил её на пустую тарелку.

– Отдай ему банку! – сказал ей отец. – Раз хочет – пусть ест.

* * *

Ты – мой ненаглядный. Может быть, всё это было и не так, не совсем так. И имена другие, и мёд был, наверное, светлым. А может быть, не было мёда. Но разве сейчас это важно? Разве сейчас – в никем не осознанной глубине, которую свет заполняет собою, в которую мне путь заказан до срока, а ты уже там, – разве во глубине и свете мы призваны помнить подробности?

* * *

Первую неделю он почти ничего не замечал, кроме еды. От дома Анисьи до барака, где жил Яков Палыч с семьей, было не меньше двух часов пути, но теперь у него появились силы, он был почти сыт.

– Ишь, как залоснился! – сказала Анисья. – Ишь, мраморный весь.

Она подходила и грубой, но ласковой рукой приподнимала его отросшие надо лбом кудри. Кожа под волосами была белой, как позёмка.

– Ты время-то там не тяни. А то ведь уедут они, не догонишь. В Москву ведь уедут, как немца прогоним.

И Зиги, которого он всё чаще видел рядом по ночам, говорил то же самое. Зиги приходил в рваном и засаленном, с чужого плеча, тулупе, один рукав у которого был пришит недавно и резко выделялся своим ярко-оранжевым цветом. Лицо брата не изменилось нисколько.

– Я жду сюда Грету, – сказал он однажды. – Теперь уже скоро.

– А мама с тобой?

– Она еще там. Ты разве не видишь её?

– Нет, не вижу.

У Зиги задрожали веки.

– Я знаю, что все еще там. И отчим, и мама, и Лия. А Грета ко мне очень скоро придет.

Теперь – если бы принесли телеграмму «все умерли» – Лазарь бы ей не поверил. Мертв был только Зиги, но он любил Лазаря, поэтому и возвращался к нему.

Старшая дочь Иакова, или, как все называли его, Якова Палыча, Дора всё пыталась улучшить минутку, чтобы поговорить с Лазарем наедине. Она заочно училась в Томском университете и собиралась стать историком. Младшую сестру Мириам, которая саму себя переименовала в Анечку, Дора не переваривала с детства.

– Тебя зовут Лазарем, верно? – спрашивала она, сверля Лазаря небольшими светлыми глазами с голубоватыми тенями под ними. – Ведь ты же не станешь требовать, чтобы тебя называли Апполоном?

– Анистья меня давно Лешей зовёт. Я даже привык.

Дора фыркала громко, как лошадь, и быстро наматывала кудрявую прядь на указательный палец. Они сидели у печки, которая только что разгорелась и дымила. Мать и тетка пошли доить коз, которых у Якова Палыча было три: Алиса, Виолетта и Тамань. Анечки дома не было.

– Она и над козами поиздевалась! – дрожащим голосом сказала Дора. – Ведь это она им дала имена! Какая «Тамань»? Тамань – это город на юге!

Лазарь молчал. Он, не отрываясь, смотрел на муку, которая возвышалась над поверхностью стола желтоватой длинной горкой, странно напоминающей крышку гроба, и думал о том, что пора бы печь хлеб. Дора пододвинулась к нему и, резким отчаянным движением схватив его горячую руку, потянула её к своей талии. Он сразу отпрянул: Дора не привлекала его, и в теле Лазаря ничего не отозвалось, но она всё теснее и теснее прижимала его ладонь к своей штапельной кофточке, на которой были какие-то вылинявшие голубые бутоны, и даже попыталась опустить его ладонь еще ниже, где начиналось крутое и тяжелое бедро. Он понял, что если сейчас убежать, то Дора его сразу возненавидит и он тогда больше сюда не придет. Как можно вернуться в тот дом, где тебя ненавидят? И есть в этом доме картошку и хлеб? И пить молоко Виолетты с Таманью? Глаза Доры стали как будто слепыми, а губы её вдруг раскрылись, разбухли. Он испуганно покосился на окно, застланное сугробом, и тихо вытянул свою руку из её вспотевших рук.

– Нельзя. Мы с тобой не одни.

– Тебя ведь могли бы убить! – сказала она. – Мы тогда бы не встретились!

– Я на поселении здесь. – Он запнулся. – Меня еще могут убить даже здесь. Меня везде могут убить.

Она опустила глаза:

– Ты Мириам любишь? Но только не ври!

В комнате стало почти темно, разгоревшаяся печь красиво и ровно шумела. Мучная атласная горка была чуть заметна.

– Не ври мне! Не ври! – вдруг заплакала Дора. – Они мне все врут: и мама, и папа, и Соня! Про Мириам не говорю!

– Зачем они врут?

– Я тебе объясню. – Быстро и горячо заговорила: – Ты сам всё поймешь! У папы в Москве есть любовница. Я слышала их разговор. Два года назад. Перед самой войной. И папа сказал тогда маме: «Ты знаешь, что я никуда не уйду. От Мириам я никуда не уйду. Она тяжело нам досталась с тобой». И да! Это правда! Её от чего только не лечили в Москве! Она у них всё умирала! Всю жизнь! А папа всегда с ней носился! Всегда! «Майн тахтр, майн тахтр!»¹ А я была папе почти безразлична! Потом он сказал, что не сможет уйти: его эта женщина – русская, слышишь? Она не еврейка. Ты понял меня? А он никогда не уйдёт к русской женщине!

– И так всю жизнь врут? – спросил он простодушно.

¹ Моя доченька, моя доченька! (идиши)

– Ах, да! Так всю жизнь. Ты видел, какие у мамы глаза? И Соня всё знает. Но Соня сама...

Тут Дора запнулась.

– Что Соня сама?

– Она даже замуж не вышла, вот что! И всё из-за папы. Она его любит. Он, кажется, думал жениться на Соне, но мама была из богатой семьи, а Соня – двоюродная, без отца. И выросла в бедности... Соню мне жалко. Сестра моя с ней, как с прислугой! А Соня ни в чем ей не перечит. Ей лишь бы при папе. Он Соне сказал: «Мы сразу простимся, когда я почувствую, что больше в тебе не нуждаюсь. Решай». Она и боится. И коз научилась доить лучше мамы, и кур развела, лишь бы он не прогнал.

Дора горько, навзрыд плакала, прижавшись к плечу его мокрым лицом. Он сразу подумал про Сюсю. Она, может быть, тоже плачет сейчас. Прошло ведь два года. А жизнь человека – такая же, как у деревьев в лесу. Поднимешь свою обреченную голову, шепнешь в облака: «Жить хочу, помоги!», а там и поникнешь, и весь ослабеешь. Придут с топором и порубят на части.

Плечо его в засаленной, тяжелой от пота гимнастерке стало мокрым от её слез. Он тихо погладил её по скользкой, тоже как будто раскалившейся и слегка дрожащей от рыданий косе. Дора подняла голову, притиснула его к себе обеими руками и быстро прижалась губами к его растрескавшимся губам. Дверь за их спинами громко хлопнула. На пороге, вся запорошенная, с белыми пушистыми ресницами и блеском своих круглых глаз сквозь ресницы, стояла сестра Доры Мириам, которую все звали Анечкой. Старухи в деревне о ней говорили: «Мала больно, чистая кукла, не девка».

Она закусила губу и с каким-то диким озлоблением, которое было трудно даже предположить в девушке с такими лучистыми глазами, сказала отдельно:

– Я вас поздравляю.

И тут же исчезла.

– Ну, всё, – прошептала испуганно Дора. – Теперь нам принцесса устроит! Увидишь!

Он бросился следом за Анечкой. Было совсем темно, какой-то слабый огонек – звезды или отблеска бледной звезды – тревожно замигал в небе, как будто ему подавали надежду, как будто бы чья-то душа – Зиги? Сюси? – хотела его поддержать в этом мире, который обоим уже был чужим. Торопливо ступая большими, с крепкими добротными заплатами на пятках, валенками, приблизились к дому жена Яков Палыча и Соня, двоюродная, приживалка.

– Ты, Лазарь, опять наших девушек ждешь?

– Нет. Анечка только что вышла куда-то, а Дора там, в доме.

Они удивились:

– А Анечка где?

Он не успел ответить: повалил такой снег, что все трое задохнулись от неожиданности.

– Ву майн тахтр?² – сквозь вату тяжелого снега услышал он голос испуганной матери.

Лазаря обожгло стыдом.

– Сейчас я найду её, я приведу!

Он бросился направо и тут же провалился, зачерпнул валенком ледяного, пронзившего холода и, чувствуя, как в горле начинает стучать от страха, высвободился и, разгребая глубокий снег обеими руками, начал двигаться дальше. Вокруг было и темно, и одновременно странно светло от снега. Все звуки исчезли, только в голове стоял шум собственной крови.

² Где моя дочь? (идиш)

– Унд во их бин?³ – резануло его по самому сердцу, и твердая уверенность, что это конец, что он никогда не вырвется, никогда не увидит ни дома, ни мамы, ни Сюси, охватила его с такой силой, что он опустился на снег и зарылся в него всем лицом, как собака.

– Их бин им криг!⁴

И тут же он вспомнил, что в этой метели нетрудно погибнуть и нужно идти и искать эту девушку, которая так на него обозлилась. А что он ей сделал? Лазарь поднял голову. Снег валил на него сначала беспощадно, густо, яростно, но потом, на самой вышине, вдруг растворился на секунду, и прозрачный дым не то лунного, не то какого-то другого света еще раз блеснул на него. Он сделал шаг влево и сразу наткнулся на что-то живое. Сквозь белизну проступила фигурка Анечки, идущей навстречу ему, увеличенной едва ли не вдвое налипнувшим снегом. Лазарь снял рукавицу и коснулся её холодного лица.

– Тебя там все ищут, – сказал он с усилием.

– И больше всех Дора, – с издевкой сказала она. – Я вся обморозилась здесь. Я шагу не сделаю больше.

Тогда он взял её на руки и понёс.

* * *

Ты мой ненаглядный. У тебя были глаза такой голубизны, что, даже когда мы с тобой умирали, нам осталось два дня до минуты, когда лоб твой стал ледяным, ты вдруг посмотрел на меня тем вернувшимся, совсем молодым и совсем голубым, – таким голубым, что сейчас его чувствую, – сквозь всю нашу жизнь и сквозь всё моё детство, – внезапно вернувшимся взглядом. Я помню.

* * *

В конце февраля Анечка, покусывая нижнюю губу, сказала матери, что её всё время тошнит. Весь этот месяц Иаков, наблюдая за своей любимой младшей дочерью, строптивой, упрямой, с лицом как у куклы, но с очень решительным, жгучим характером, чувствовал, что сердце его готово выскочить из груди от боли. Но, кроме боли, у Иакова – Якова Палыча, всеми уважаемого бухгалтера совхоза «Сибирские Выси», – была еще гордость, и именно гордость не позволяла ему схватить приблудившегося к ним красавчика Лазаря за его темно-русые кудрявые виски, притиснуть к стене и спросить:

– Ты, Лазарь, о чем себе думаешь?

А Лазарь не думал. Он приходил к ним в дом почти ежедневно, его там кормили и потихоньку вытягивали из его недозревшей испуганной души всё, что она накопила за жизнь. Они уже знали про маму и Зиги, про Грету и Лию, Наума, про доктора Унгара и про гимназию. Скрывал он от них только Сюсю. Дора страдала от неразделенной страсти и так безутешно плакала по ночам, что к утру наволочка её была насквозь мокрой. Анечка смотрела мимо Доры, мимо Сони и только, встречаясь взглядом с отцовскими настороженными и огорченными глазами, слегка поджималась, как будто робела. С Лазарем она стала женщиной. Это случилось через два дня после того, как он отыскал её в дымящейся выюге и на себе приволок домой. Случилось внезапно, каким-то порывом, и Лазарь хотел даже встать на колени, когда она вся искривилась от боли.

– Прости меня, Анечка, я...

³ А где я? (нем.)

⁴ Я на войне! (нем.)

– Дурачок, – сказала она. – Ты ведь любишь меня?

Началась новая жизнь. Невыносимо острые, не до конца понятные ей самой ощущения, которые Анечка теперь испытывала всякий раз, когда они оставались наедине, наполняли её каким-то странным, раздраженным сознанием власти над ним, как будто бы он был рабом, а она – госпожой. И то, что он ярко краснел и стеснялся, смотрел так, как будто сейчас убежит, – всё именно это ведь и подтверждало! А Лазарь страдал от стыда, от неловкости, казалось, что он виноват перед нею, хотя было видно, что оба нуждались в здоровой телесной любви. Когда Анечка уводила его за занавеску, где стояла её кровать, накрытая связанным Соней одеялом, и требовательно смотрела на него своими очень лучистыми глазами, уверенная, что его нерешительность вызвана опасением, как бы не вернулся кто-нибудь из домашних, Лазарю всякий раз хотелось сказать ей, что у него есть Сюся, и поэтому даже если он никогда не ляжет с Анечкой на эту кровать и никогда не закричит от чисто физической, сладостной муки, во время которой мужчина не помнит, ни где он, ни кто с ним, то он очень скоро забудет и Анечку, и запах её очень белого тела, и то, как она часто-часто моргает и не произносит ни слова во время их быстрых, пугливых, неловких сближений.

Через полтора месяца она сказала маме, что её тошнит, и мама вместе с Соней – обе закутанные в пуховые деревенские платки и перепуганные насмерть – выпросили у Иакова лошадь с подводой, чтобы отвезти Анечку в больницу. Иаков низко опустил голову, и видно было, как у него задрожала левая щека.

– Что с Мириам? – спросил он глухим рваным голосом.

– Она нездорова, – сказала жена. – Пусть доктор посмотрит.

– Пусть доктор посмотрит. – Он побагровел. – А мы с тобой разве без глаз? Мы слепые?

В областной больнице высокая, похожая на мужчину, с мелкой, кудрявой растительностью над верхней губой и вдоль щек, фельдшерица обнаружила, что Анечка беременна. Выслушав эту новость, немые от ужаса мама и Соня дрожащими руками напялили на Анечку шубку, всунули в валенки её крохотные ноги и, плача навзрыд все втроём, вернулись домой. Иаков в железных очках и в ермолке сидел за столом, на котором лежала раскрытая Тора. Он сразу всё понял.

– Иди сюда, Мириам. Садись и не бойся.

Лицо его словно подернулось пеплом. Стараясь не задевать взглядом её тела, как будто бы в теле её было что-то, чего он боялся, Иаков спросил, как же это случилось. Она промолчала.

– Тебе нужно замуж, – сказал он спокойно. – Где Лазарь?

– Но я не хочу еще замуж! Зачем мне? – И Анечка вспыхнула. – Я не хочу!

– Теперь уже поздно хотеть или нет.

Надел рукавицы, тулуп, волчью шапку. Ермолку сложил, завернул в кусок шелка. Прошел мимо Сони и мимо жены, как будто бы их вовсе не было в комнате. Через несколько минут, тяжело ступая валенками по скрипящему снегу, подвел уставшую лошадь к водовозке, и пока она бархатными, коричневыми губами пила из кадки, на которой разбила тонкий лед, ударив по нему мордой, обдумывал то, что ему предстоит. Было совсем темно, за снежной долиной, под которой стыла река, мертвым и неприкаянным светом блестел тонкий месяц.

Лазарь выскочил на крыльцо босым, в одной рубашке.

– Она ждет ребенка. Ты знаешь об этом?

– Я – нет! Она мне ничего не сказала! – И Лазарь закашлялся хрипло и громко.

– Убил бы тебя, но ребенка мне жалко. Хоть толку с тебя, как с козла молока.

– Но мы с ней распишемся! Я ведь согласен!

– Сначала меня бы спросил: я согласен?

В проеме двери показалась Анисья с лучиной, горевшей кровавым огнём.

– Здоровья вам, – громко сказала она. – Зайдите в избу, заметёт.

– Здоровья и вам, – поклонился Иаков. – Мы поговорили уже. До свидания.

Их расписали в областном центре Юзгино. На Анечке было красивое платье, и Соня связала ей белую розу, которую Анечка вдела в пучок. Туфельки, купленные еще в Москве, она надела прямо в санях, поэтому Лазарь, причесанный на косой пробор и ставший похожим на Зиги, нес Анечку, словно ребенка, до самых дверей неказистой конторы. В конторе стоял крепкий запах махорки и талого снега. Вечером состоялась свадьба. Дом Иакова жарко протопили, посреди его устроили хупу: натянули ярко-белую простыню на четырех высоких столбиках, и под эту простыню встали смущенные молодожены. Слепая от слез, пропитавших лицо и сделавших красными тени подглазий, сестра новобрачной держала свечу.

«Барух Ата Адонай, Элохейну Мелех ха-олам ашер бара сасон ве-симха, хатан ве-хала... – серьезным, торжественным голосом нараспев произнес Иаков. – Благославен Ты, Господь наш Бог, Царь Мироздания, сотворивший веселье и радость, жениха и невесту...»

Лазарь смотрел на свою жену, у которой ярко горели щеки, а в лучистых глазах стояло диковатое удивление, потом переводил зрачки на её отца, который мог бы, наверное, убить его за то, что он, не любя, сделал его дочке ребенка, и думал, что эти вот тихие люди спасли ему жизнь и что, если бы Зиги увидел сейчас эту скромную свадьбу среди неподвижных алтайских сугробов, он был бы, наверное, рад за него.

* * *

На следующий день Яков Палыч, всеми уважаемый бухгалтер совхоза «Сибирские Выси», начал хлопотать, чтобы мужу его младшей дочери разрешили перебраться к ним в барак и жить с ними общей семьей. Пришлось дать хорошую взятку одноному коменданту, но и от коменданта не много зависело. За взятку в военные их времена могли расстрелять и того, и другого. В конце концов, случай помог: в школе умер директор, хороший мужик, на себе всё тащивший. Он преподавал и немецкий, и химию. Вот тут Яков Палыч подсунул зятю.

– Уж кто-кто, а Лазарь сумеет! Научит!

Никто ему не возражал. Одноногий скрепя пьяное сердце подписывал справки.

Анисья, прямая, в платке по глаза, стояла на верхней ступеньке крыльца.

– Иди суда, Лёша, хоть перекрещу. Ты лук у меня воровал по ночам, – сказала она. – Думал, бабка-то спит. А я не спала, я жалела тебя. Пускай, – говорю, – хоть лучком поживится, а то ведь помрот. Когда старики помирают, не жалко, а ты молодой.

* * *

Он больше не убивал деревья, предсмертный скрип которых наматывался на голову, как бинт, и не отпускал его ни днем, ни ночью, он преподавал теперь в школе, где строгие, с большими руками, уральские девушки всегда опускали глаза, отвечая. И спал он теперь не один, а с женой. Она заплетала кудрявые волосы, ложась с ним в постель, в очень толстую косу, конец у которой он ей перевязывал большой белой лентой с конфетной коробки, еще довоенной и очень нарядной.

Ночью Лазарь просыпался от того, что сердце его дико билось в груди. Ему это напоминало, как бились на рынке в родном его городе куры, которым особенно ловко и быстро, специальным топориком, резали головы. Анечка спала рядом, и её лицо с размашистыми, как листья папоротника, ресницами во сне становилось задумчиво-детским. Лоскутное одеяло бугорком приподнималось на животе: до родов осталось чуть больше недели.

Чего он боялся? Того, что ребенок умрет. Того, что придут и его арестуют. Того, что нет мамы, нет Лии, нет Зиги, Наума и Греты, Арона и Сюси. Есть только война. И война – это жизнь.

Ребенок родился в четверг. Хрупкий мальчик. Глаза как у матери, но голубые. Октябрь был тёплым. Когда они возвращались из больницы, подул свежий ветер и белую гриву их лошади вдруг позолотило слепящим закатом. Приблизив ребенка к лицу, Лазарь начал его согревать осторожным дыханием. Ребенок поморщился, но не проснулся.

Ты – мой ненаглядный. Теперь, в том пространстве, где всё – только свет и куда не смогу пробиться до срока, – ты помнишь всё это? А помнишь, как ты мне сказал «моя доченька», когда уходил, оставлял меня здесь?

Валерий Панюшкин

Красный командир в длинной шинели

22 июня 1941 года Нине было двадцать пять лет, но несчастной она стала в двадцать три. Ее несчастье началось с ночного стука в дверь. 31 декабря 1939 года.

Новый год тогда уже был немножко отпразднован двадцать шестой девичьей комнатой в общежитии медицинского института, и девочки ложились спать. Но тут в дверь забарабанили снаружи.

– Кто там? – крикнула Нина, потому что была активной комсомолкой и не должна была бояться ночных стуков.

– Нина Бочкарева здесь есть такая?

И безо всякой паузы дверь распахнулась, а на пороге стоял комбриг в длинной шинели и папаше корпуса «Ингерманландия» Финской Народной Армии. С огромным из хрустящей бумаги продуктовым свертком в руках. А из-за спины комбрига выглядывал Толик, тоже в длинной шинели, но в буденовке, сдвинутой на затылок, – белобрысая, курносая, растерянная финская морда.

– Ну? – Комбриг шагнул в комнату, как если бы вводил в прорыв на линии Маннергейма танковую свою бригаду. Он был такой плотный, что казался бронированным. – Которая тут Нина?

– Я Нина. – Нине даже нравился этот танковый напор.

– Ну, что, Нина, любишь ты моего Толика?

– Да. – Честное сталинское, Нина не знала, почему так ответила. – Хороший парень.

Этот белобрысый Толик четыре курса ходил за ней, как собачка на поводке. Толик Нине не нравился, но нравилось чувствовать на себе его собачий взгляд. Он боялся высоты, но прыгал вместе с нею с парашютной вышки в парке культуры. А когда Нина сказала, что прыжок с вышки – это не прыжок, Толик сдал нормы ГТО, стрелял на отлично, гонялся на лыжах среди первых и был, наконец, допущен к настоящему прыжку – с самолета. И потом носил значок прыжка, но все равно не нравился Нине. И даже когда Толик стал через день ходить с Ниной в аэроклуб учиться планеризму, Нина понимала, почему он ходит через день. Потому что приличные брюки были у него одни на двоих с товарищем. Девушки хорошо замечают, когда у ребят одни брюки на двоих, даже комсомолки.

Нина сначала сказала «да», а потом сказала «хороший парень» в том смысле, что любит Толика только как товарища. Вовсе не в том смысле, в котором говорят «я тебя люблю». Это же было понятно. Но комбриг не принял уточнений, ввалился в комнату окончательно, заорал «вот и устроим комсомольскую свадьбу!», зашептал «давай, девчонки, давай по-быстрому». И через минуту на столе явились из комбригова свертка осетровый балык, паюсная икра, копченый сиг, бочковая килька, водка и хлеб. А через две минуты Нина и Толик сидели уже во главе стола бок о бок, и комбриг стоял со стопкой водки в руке и говорил, что вверенной ему властью командира рабоче-крестьянской Красной Армии по законам военного времени объявляет военврача Анатолия Кананена и комсомолку Нину Бочкареву мужем и женой! Распишитесь! И они – Нина не понимала, что это за месмеризм на нее действует, – расписывались на листке бумаги, который комбриг тут же извлек из планшета. И девчонки расписывались как свидетели. Ура! Горько!

Нина выпила водки, и ей стало горько. Толик поднял ее под локти и неуклюже поцеловал при всех. Девчонки визжали, хохотали и хлопали в ладоши. А потом Нина не очень помнила, что происходило. Комбриг говорил еще что-то. Что-то пел. Про артиллеристов. Про невысокое солнышко осени и прямо Нине в лицо: «Принимай нас, Суоми-красавица,

в ожерелье прозрачных озер». А Нина и впрямь чувствовала себя красавицей, которая должна принять этих военных. В присутствии комбрига Нина как-то не ощущала себя по-крестьянски крепкой высокой девушкой с широкими бедрами и тяжелой грудью, – а хрупкой. И если бы комбриг завалил ее на кровать и взял, Нина не сопротивлялась бы. Но он взглянул на часы, захлопал и заторопился:

– Так, девчонки, оставляем молодых. Давайте, давайте, поночуйте где-нибудь по подружкам, – и принялся подталкивать Нининых однокашниц к двери, а в дверях обернулся и приказал Толику: – Четыре часа у тебя. В шесть ноль-ноль на вокзале.

Потушил электрический огонь, вышел и захлопнул дверь.

Нина и Толик остались вдвоем в темноте. В ту ночь у Толика ничего толком не получалось, как и у корпуса «Ингерманландия» тем временем не получалось взять линию Маннергейма. Военврач только ворочался на комсомолке, как большой червяк в нижнем белье, издавал сильный запах одеколона и намочил простыни. А Нина ничего не чувствовала, кроме того, что ужасно горят щеки. Задолго до рассвета Толик встал, оделся, не зажигая огня, и ушел на Финскую войну, так и не заметив, что простыни в их первую брачную ночь были мокры только от его семени, но не от ее крови, ибо она прежде любила другого – жгучего брюнета и бесстрашного планериста.

Нина не спала до утра. Лежала, укрывшись с головой, и пыталась поймать обрывки мыслей про то, что это и как это с ней случилось. Не знала, как наутро посмотрит девчонкам в глаза. Но утром выяснилось, что смотреть им в глаза можно с гордостью. Они с трепетом и любопытством возвращались в комнату, где оставался еще запах мужчины и военного. Они пытались шептаться с Ниной. Они, оказывается, сами хотели бы замуж за красноармейца, но красноармейцев не много было вокруг – ушли на войну.

Пока Толик там штурмовал район Сумма-Хотитен и рвался на Дятлово-Выборг вдоль озера Желанное, Нина тут как-то в роли замужней женщины освоилась. Ее поздравляли. Девчонки ей завидовали. Мужчины стали говорить с ней на серьезные и даже военные темы. Комендант общежития с почтением отнесся к свидетельству о браке, выписанному комбригом, и даже выделил Нине комнату для молодоженов, чтобы ждала своего военврача с победой. Он вернулся более или менее с победой и теперь оказался более или менее успешен в любовных делах.

В мае 41#го Нина родила сына, большого, курносого и белобрысого. Но мертвого. Сразу уже по стуку, с которым младенец упал на родильный стол, Нина догадалась, что он мертвый. И с тех пор Нине казалось, что все на свете смотрели на нее с осуждением, как будто она нарочно удушила ребенка в своих родовых путях. Она почти не выходила из комнаты. Только в библиотеку, чтобы набрать книжек для подготовки к экзаменам, разложить на кровати и сидеть над ними весь день, не разбирая букв. Ей не было жаль младенца. Она даже не знала, как Толик его похоронил. Ей было невыносимо стыдно потерпеть неудачу в, казалось бы, довольно простом деле деторождения.

22 июня 1941 года было первым днем, когда Нина согласилась на уговоры Толика пойти куда-нибудь вместе. Воскресенье, хорошая погода, Нина в платье из креп-гранита и набивного креп-гофре, Толик – в отпаренном кителе с начищенными пуговицами. Они шли на футбол.

В городе было много военных. Толик приветствовал их. Они бросали на Нину короткие взгляды, подобные выстрелу. Но Нине казалось, что все эти командиры ее осуждают и будто бы говорят: как же ты, комсомолка, не смогла родить сына этому веселому военврачу с сияющими пуговицами. А некоторые военные были с женами, и некоторые их жены были даже с детскими колясками. Эти женщины всегда смотрели внутрь своих колясок, никогда не смотрели на Нину, и Нине казалось, что жены командиров прячут от нее осуждающие

взгляды. Нина чувствовала, как жгучий румянец стыда расплзается по ее щекам. А встречные командиры видели крепкую румяную брюнетку, окидывали ее взглядом с головы до ног и мгновенно оценивали, что грудь у смуглянки хороша, а щиколотки широковаты.

На углу Большого проспекта и Лахтинской произошла совсем уж неприятная встреча. Нина шла, опустив глаза, и поэтому первым делом увидела английского бульдога. Он бежал на кривых толстых лапах, скрежетал когтями по панели, храпел приплюснутым носом и волок за собой на поводке – Нина подняла глаза – профессора Ильмъяр. Профессор Надежда Викентиевна Ильмъяр была женщиной, но всегда одевалась в мужское платье – в строгие костюмы с цепочкой от часов, нырявшей в жилетный кармашек. Волосы она носила короткие, седые и растрепанные ветром. В перспективе улицы, подсвеченная солнцем, на фоне стремительно летящих облаков, профессор выглядела величественно. До революции в фамилии профессора было два твердых знака. Назавтра Нине предстояло сдавать профессору экзамен по хирургии, и Нина знала, что с первого раза хирургию никто не сдает. Ожидала позора, тем более что и правда в связи с беременностью и неудачными родами пропустила много консультаций и лекций.

– Здравствуйте, профессор! – гаркнул Толик и протянул руку.

– Здравствуйте, миленький. – Надежда Викентиевна остановилась, бульдог продолжал, скрежеща когтями, бежать на месте. – Простите, не могу ответить рукопожатием. Беспокоюсь, знаете ли, о чистоте ленинградских улиц.

Правой рукой, одетой в хирургическую перчатку, профессор держала собачьи фекалии. Она всегда на прогулках убирала за своей собакой, студенты складывали легенды про это. Нина почуяла отвратительный запах, тошнота подкатила ей к горлу, и она не расслышала, что именно сказала ей профессор, улыбаясь и помахивая собачьим дерьмом. Кажется, что-то ободряющее насчет завтрашнего экзамена. В ответ Нина кивнула и потащила Толика по проспекту вперед к стадиону имени Ленина на Петровский остров.

На стадионе тоже было полно военных, и все в шутовском настроении. Толик провел Нину на трибуну, сел с нею рядом, держал за руку, а сам вертелся все время, перебрасываясь веселыми репликами с незнакомыми командирами, сидевшими справа, слева, ниже и выше. Кажется, он просто хвастался и хотел, чтобы все обратили внимание, какая у него жена в платье из креп-гофре.

Примерно в полдень, когда должен был начаться матч, диктор по радио, вместо того чтобы объявить составы харьковского «Спартака» и ленинградского «Зенита», сказал, что сейчас будет передана речь товарища Молотова.

Молотов заговорил. Поначалу Нина не могла понять, о чем говорит нарком иностранных дел. Замечала только, что говорит он плохо. В слове «гражданки» сделал ударение на первой «а» и повторил эту ошибку два раза. В слове «договор» сделал ударение на первой «о», эту ошибку повторив трижды. В слове «сплочен» сделал ударение на «о». Нина обращала на это внимания. Она была из Новочеркасска. Приехав в Ленинград, упорно боролась со своим донским говором и победила. К концу четвертого курса приучилась даже говорить твердое ленинградское «что» вместо южного «шо» или даже общепринятого «што».

А Молотов говорил плохо. Слышно было, что он даже не говорил, а читал. Да и читал, запинаясь. Никогда не мог произнести «наша страна» и даже «Советский Союз» без дурацкой паузы между словами. Перемежал официальный тон дипломатического заявления мальчишескими обзывалками – «разбойничье нападение», «состряпать», «зазнавшийся враг»... Посреди речи стал вдруг рассказывать, как под утро приходил к нему немецкий посол Шуленбург и объявил войну за то, что Красная Армия слишком сосредоточилась на немецких границах, а он, дескать, Молотов возражал Шуленбургу, что ни разу ведь Германия не предъявляла по этому поводу претензий. Как нашкодивший мальчишка. Наша земля,

наши войска, где хотим, там и размещаем, – зачем же оправдываться? И голос у него был какой-то мальчишеский, тонкий и вздорный. Таким голосом неубедительно получалось говорить: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Разве так произнес бы эти слова товарищ Сталин?

Тем не менее все вокруг Нины поднялись. Все эти командиры стояли и слушали напряженно. Нина наконец сообразила, что это война. Ну и что что война? Только что было четыре войны. Финская была, Халхин-Гол, в Польшу вошли, в Бессарабию... Отличие этой войны, насколько понимала Нина, в том только и заключалось, что не мы напали освободить народы и громить врага на его территории, а на нас напали. Но это ведь ничего. Отобьемся же, отбросим. Толик уйдет на войну, не будет таскать ее по футбольным матчам в выходном платье. И вообще в людях появится эта вот особенная собранность, необходимая во время войны. И может быть, экзамен по хирургии отменят, ведь армии нужны врачи, ведь перед Финской отменили же и без экзаменов дали Толику диплом, хотя он так и не пересдал химию, заваленную с позором.

Сообщению о войне Нина даже обрадовалась. На глупом этом стадионе как-то вдруг все подтянулись, не стало вокруг никакого балагурства, никто не обмеривал больше взглядом Нинину грудь. Зрители направились к выходу, деловито переговариваясь, и на улице Нина ожидала увидеть чуть ли не красноармейские полки, марширующие повзводно.

Увидела, однако же, очереди. За какой-нибудь час длинные хвосты выстроились к дверям сберкасс и продуктовых магазинов. Люди бежали куда-то, волокли крупу в авоськах, прижимали к груди сберкнижки и облигации государственных займов.

Трамвай на Большой Пушкарской был переполнен. И многие пассажиры тащили по мешку чего-нибудь съестного.

Толик сказал, что ему срочно надо в госпиталь, и потом спросил:

– А на ужин-то что? Ничего же не купишь в таких хвостах.

– Можно и без ужина! – отрезала Нина.

– Можно, – согласился военврач. – Можно в столовой покушать.

И Нина чуть не убила его за это «покушать». Вот так бы и написала на него в горком партии, что, дескать, военврач и должен быть сознательный красный командир, а сам употребляет в трамвае мелкобуржуазные словечки.

А у самого почти института на Петропавловской улице у одной толстой женщины ветер вырвал из рук облигацию и понес. И она бежала за облигацией, хрюкая, как свинья, пока ветер не бросил ценную бумагу в речку Карповку. И баба заверещала:

– Что же ты, господи, светопреставление!

Тогда Толик спустился к речке по деревянным сваям, вытащил эту проклятую облигацию из грязной воды и вернул хавронье, почти не замарав кителя. А женщина кричала:

– Защитники! Защитники наши! Примут-то у меня ее мокрую? А, товарищ военный? А пошлите со мной в сберкассу, докажете!

Нина сказала:

– Успокойтесь, гражданка.

И подумала, что хорошо бы у них у всех отобрать эти сберкнижки и облигации, да сжечь. И крупу эту сжечь, и сухари, про которые в трамвае только и разговоров, несмотря на то что каждую войну правительство нарочно просит граждан сохранять спокойствие и не запасать продуктов впрок.

На следующее утро Толик ушел на фронт. Ночью он пытался ласкаться к Нине, как щенок тыкался в ее грудь носом, но она остановила его нос – «тихо, спи». Уходя утром, он оставил на столе сто сорок рублей денег и серебряные часы Павел Буре, единственную свою ценную вещь, которую принес с Финской в качестве трофея. Как он себе это представлял? Что Нина пойдет в комиссионный продавать часы? Глупость какая! Нина слышала,

как он собирался, видела, как ходил по комнате в водянистом свете ленинградской белой ночи, слышала, как пил воду из чайника. Но так и не встала его проводить.

Экзамены действительно отменили. Диплома пока не дали, но это только Нине, которая претендовала на диплом с отличием и простого диплома получать не хотела. Зато и без всякого диплома Нину сразу взяли в клинику ординатором. И она нарочно пошла к профессору Ильмъяр, которой побаивалась, попросилась в ее бригаду и была принята.

В эти первые военные дни серьезные приготовления в городе перемежались глупыми. Тяжелые тягачи везли по Кировскому проспекту пушки и гаубицы, но в то же время комендант общежития ходил с двумя красноармейцами по комнатам и требовал сдать для армии велосипеды, у кого есть. У Нины велосипеда не было, и она представить себе не могла, как на велосипедах воевать с фашизмом. Разве не глупость?

Постановлением Совнаркома ввели продуктовые карточки, но тут же открыли коммерческие магазины, где цены на масло и хлеб были вдвое выше государственных, а витрины ломились от икры и камчатских крабов. Разве не подлость? У Нины была рабочая карточка, восемьсот граммов хлеба и других продуктов соответственно. Нина свои продукты никогда до конца не выкупала. И зарплата у нее теперь была целых пятьсот рублей, но Нина никогда ничего не брала в коммерческих магазинах. Принципиально. Деньги оставались, и ничего страшного не бывало, если зарплату иногда задерживали – война же.

Во дворах и в скверах рыли убежища, но рыли плохо – даже от обстрела в такой щели нельзя было бы скрыться, тем более от бомбежек. Впрочем, ни обстрелов, ни бомбежек пока не было. По радио иногда объявляли воздушную тревогу, бешено тикал метроном, но вражеские самолеты к городу не могли прорваться, зенитчики работали хорошо.

Нина знала, что где-то там, на фронте, несмотря на тактическое отступление, царит порядок. В городе же часто наблюдалось разгильдяйство, а порядок – только у них в операционной. Надежда Викентиевна была строга, недели за две вымостровала Нину, ни разу не повысив голоса, а иногда даже взглядом.

Хоть клиника и не была мобилизована, военным госпиталем не стала, но к августу пошли первые раненые из беженцев и с фронта. Оперировать приходилось три-четыре раза в день. Старуха Ильмъяр повелела принести ей в операционную высокий табурет и оперировала теперь сидя.

Впрочем, городской беспорядок и бестолковщина если в операционную и не попадали, то подбирались к самым ее дверям. Сеяла бестолковщину операционная сестра Маша. Маша была Нининой ровесницей, но имела уже двоих подращенных детей. Старший ее сын Кирильчик ходил в школу, и, стало быть, родила его Маша лет в шестнадцать, не позже. Маша была пухлой, краснощекой и беспрерывно болтала всякие глупости, даже когда мылись и готовились к операции. Но Надежда Викентиевна болтать Маше не запрещала, объясняя это тем, что Маша была идеальной операционной сестрой. Действительно, у стола Маша была собранной и молчаливой, но стоило только Маше выйти за дверь и снять маску...

Чего только не рассказывала Маша. Каких только диких слухов не передавала. Что немцы везут в Ленинград царя и царицу, что царица – немка и уговорила Гитлера привезти ее в Зимний дворец и сразу уйти. Эту историю Надежда Викентиевна слушала, печально улыбаясь.

Еще Маша рассказывала, что батюшка Владимир в Никольском соборе читал, дескать, прихожанам Апокалипсис и там, в Апокалипсисе, будто бы написано про красного петуха и черного петуха и зашифрованы цифры, и если расшифровать, получается, что война закончится на сорок третий день. В августе рассказывать эту историю Маша перестала. Сорок три дня уже никак не получались.

Зато Маша рассказывала, что детей, дескать, отправили в эвакуацию, посадили в поезд, повезли под Лугу и привезли к самым немцам в пасть, на самую передовую. Эта исто-

рия выглядела горячечным бредом, но вскоре оказалась более или менее правдой. В одном из обстрелянных детских эшелонов находились и Машины дети, Кирильчик с Данилкой, а теперь их вернули в Ленинград домой.

Еще Маша рассказывала, будто юродивый Матвейка на Смоленском кладбище говорил, что Христос приходил в Ленинград, стоял на площади Урицкого и плакал, и камень прогорел в нескольких местах там, где упали слезы. А потом Христос взмахнул крыльями и улетел.

– Ну, это уж, миленький, совсем сказки, – говорила Надежда Викентиевна, локтем закрывая кран и подставляя руки, чтобы Маша надела ей перчатки.

– Разве ж я не понимаю? – лукаво улыбалась Маша. – Только, Надежда Викентьевночка, интересно же, что люди говорят.

И рассказывала вдогонку еще про красного командира в длинной шинели. Что у раненых есть поверье, будто к тем, кому предстоит вскоре умереть, ночью приходит красный командир в длинной шинели и помогает что-нибудь: воды поднесет, простыни поправит, а человека, глядишь, назавтра и нету.

– Вот это вредный слух, – нахмурилась профессор. – Его надо пресекать.

– Я понимаю, Надежда Викентьевночка, что вредный, да как же быть, если я сама давеча задержалась после комендантского часа и сама видала, как к Прохорчуку приходил красный командир в длинной шинели и принес кулечек конфет бомбошек.

– И что?

– А то, что боец Прохорчук сегодня помер антоновым огнем, а бомбошки так у него и лежат в головах.

Профессор помрачнела и сказала тихим голосом:

– Гангрена следует говорить, Маша, гангрена. Нечего разводить тут народную медицину. И вообще хватит болтать.

К сентябрю всяческие надежды на то, что Ленинград избежит разрушений и смертей, не оправдались. Враг подошел к городу на расстояние артиллерийского выстрела. Самолеты тоже стали прорываться. И Маша рассказывала, что половину зенитных орудий увезли из города в Пулково, против танков, оттого и легче стало вражеским самолетам бомбить город. А однажды в начале сентября Маша прибежала и зашептала:

– Всё! Моряки уходят!

Надежда Викентиевна пожурила Машу за распускание панических слухов, спокойно додежурила, но после дежурства пошла на Неву посмотреть и позвала с собой Нину. Мосты действительно были разведены, и вверх по реке в сторону Ладоги действительно тянулись военные корабли.

– Красивые черти, – только и сказала профессор, глядя им вслед.

Закрылись коммерческие магазины. Уменьшена была норма хлеба по карточкам. Потом уменьшена была еще раз. С октября Нина получала четыреста граммов хлеба и однажды призналась себе, что постоянно чувствует голод, даже несмотря на то, что в клинической столовой кормили, не вырезая карточек. Зарплату задерживали все чаще, купить на колхозном рынке ничего было нельзя.

Толик часто писал. Каждое свое письмо он заканчивал словами «постарайся хорошо питаться». Летом Нина злилась на неприемлемую для военного времени обыденность этих слов. К середине осени стала думать, что Толик – единственный человек, который ее понимает.

Чтобы не поддаваться панике, записалась в комсомольский отряд противовоздушной обороны. Ходила дежурить на крыши во время бомбежек, но бомбили в основном юго-западную часть города, а Петроградской стороне доставалось мало. С крыши Нина видела 8 сен-

тября в лучах заходящего солнца красивейшее облако бело-багрового дыма. Маша потом говорила, что это горели Бадаевские продовольственные склады – вся запасенная для города еда. А еще распускала слухи, что немцы взяли Шлиссельбург и Мгу, что город окружен и настанет голод. Ни на чем не основанные слухи. В райкоме комсомола про Мгу Нине подтвердили, про Шлиссельбург опровергли. Слухи про окружение города называли паникерством, но раздали комсомольцам револьверы, а комсомолкам – финские ножи. Стрелять Нина умела, но как сражаться ножом – не имела понятия.

В годовщину революции товарищ Хозин по радио впервые произнес слова «охватили город кольцом блокады». А товарищ Сталин сказал, что нужно «потерпеть годик». Сколько? Годик?

В институте тоже был митинг. Проректор кричал истерически и размахивал руками:

– Каждый должен быть готов защищать город с оружием в руках! Изобретайте себе оружие – ружья, палки, ножи!..

– Я со скальпелем пойду на врага, миленький, – прокатилось над головами насмешливое контральто старухи Ильмъяр.

Нина подумала, что вот у нее есть финский нож, но он совершенно бесполезный.

Из всех окон летел пепел. Сначала в райкомах партии и комсомола, а потом и во всех других учреждениях жгли документы. Невесомые останки бумаг кружились над городом, как черный снег.

Раненых с каждым днем было все больше: военных с фронта и штатских – от обстрелов. А в городе с каждым днем все больше становилось беженцев из пригородов и южных районов Ленинграда. Их было жаль, конечно, но они несли с собой дух разложения и беспорядка. Сидели на тротуарах, ночевали в парадных, просили милостыню, распускали нелепейшие слухи. Что немцы, дескать, разбрасывают с самолетов пропуска на оккупированную ими территорию, и кто воспользуется пропуском, пойдет и сдастся, того сразу кормят и решают вопрос с жильем. Только вот, говорили, милиция эти пропуска собирает и прячет. Еще говорили, что Сталин приказал Ленинград взорвать, что только Ворошилов уговорил не взрывать пока, но город заминирован, для того и роют на улицах. А раненые бойцы бесперечь твердили про красного командира в длинной шинели, который будто бы являлся каждому умирающему, как Летучий Голландец в книжках про морские приключения являлся погибающим кораблям.

На все эти слухи и рассказы Нина жаловалась Надежде Викентиевне, просила пресечь и запретить безответственную болтовню хотя бы Маше. Но профессор говорила:

– Ничего, миленький. Народ дремучий, конечно, но, попомните мое слово, эта дремучесть для немцев окажется едва ли не страшней, чем танки.

Нина не могла согласиться. Она была уверена, что распускать ложные и панические слухи нельзя. Более того, следовало бы просвещать народ, разъяснять сущность империалистической войны, растолковывать, что фашистское правительство Германии долго не продержится, что германский пролетариат воевать со страной победившего пролетариата не намерен, что вот, например, на территории больницы Эрисмана упала бомба, но не разорвалась, потому что заполнена была песком, а не взрывчаткой, и в этом песке саперы нашли записку «Чем можем, тем поможем» – от германских рабочих, саботировавших свое военное производство.

– Это вы откуда знаете про записку? – спросила профессор Ильмъяр.

– Своими глазами видела. Помните, я же ходила в Эрисмана. Мне показывали бомбу. Лежит посреди двора.

– А на каком языке записка? На русском?

– На немецком, конечно. – Нина припомнила эту записку во всех подробностях, даже воспроизвела немецкий текст: – Was mochte das hilfe.

– Вот как? – Надежда Викентиевна засмеялась. – В таком случае, миленький, записку писали и бомбу начиняли песком советские студенты. На испытаниях по немецкому вам за такую записку, может быть, и поставили бы зачет. Но немец так не напишет. Напишет «Wir helfen so gut wir können» или что-нибудь в этом роде. Даже рабочий. Так что записочку вы придумали. Точно как Маша придумывает про красного командира, а блаженный Матвейка на кладбище – про крылатого Христа.

Нина покраснела. Мгновенье назад ей действительно казалось, что она своими глазами видела записку, тогда как на самом деле видела только бомбу, и нельзя было определить по бомбе, взрывчатка в ней или песок. Нина была честной девушкой.

– Как это? – спросила она. – Я же не хотела врать. Я же сама верила, что видела эту записку. Простите.

– Ничего, миленький. – Очень ласковым жестом профессор погладила Нину по щеке. – Я верю, что вы верили. Вот и они так верят в своего Христа с крыльями и командира в длинной шинели. Я и сама верила в то, что немцы – культурная нация, и всем говорила это, пока нас не стали бомбить.

Под бомбежку, вернее под артиллерийский обстрел, Нина попала впервые в начале ноября. Был выходной день, их комсомольский отряд противовоздушной обороны дежурил на Кронверкском проспекте. Выходя из дома, Нина положила в карман серебряные часы, оставленные Толиком. Украдкой, как бы стыдясь саму себя. Она как будто сама от себя скрывала, что постоянно была голодна. Выкупить продукты по карточкам было трудно. В булочных не каждый день бывал хлеб, а когда бывал, приходилось стоять за ним в очередях. По несколько часов. У Нины не было времени на очереди, а в клинической столовой кормили плохо, вырезали мясные карточки за котлетки из перемолотой жилы и хлеб давали не всегда. Магазиновые очереди были молчаливыми и мрачными, в столовых все со всеми беспрестанно ругались. Всегда хотелось есть. Думалось только о еде. То и дело Нина ловила себя на изобретении самых фантастических фантазий про то, откуда у нее появится вдруг хлеб. Вот она пойдет по улице, а какой-то встречный военный подарит вдруг целую буханку. Или привезут раненого генерала, и он подарит хлеб после успешной операции... Теперь в районе их дежурства был Сытный рынок, а на Сытном рынке часы можно было обменять на хлеб. Как это сделать, Нина не представляла себе. В присутствии товарищей, конечно, не стала бы торговаться. Все дежурство не стала бы ходить с хлебом за пазухой. Но как-то вот она фантазировала, что пойдет на дежурство, а вернется с хлебом. И положила часы в карман.

День был серый. Все было серое – мостовая, дома, голые деревья в парке. Только трамвай по Кронверкскому проспекту бежал красный.

Комсомольцы прошли мимо Сытного рынка, прямо сквозь толкучку. Купить или намять еды никто из них, кроме Нины, не мог, но, не сговариваясь, шли хотя бы посмотреть на еду. Еда была серая – хлеб, жмыхи, даже масло они видели в серой оберточной бумаге. И полами серых пальто укрывали еду серолицые люди.

Вдруг эта серая картинка словно бы разорвалась, а в ее изнанке полыхнул рыжий, красный и золотой цвет. И словно бы кто-то сильный ударил Нину ладонями по ушам и одновременно толкнул в грудь. Нина упала, скорчилась и зажмурилась. Сколько-то времени прошло, прежде чем она сообразила, что это рядом с нею разорвался снаряд. Подумала, ранена ли, но не могла определить. Открыла глаза, люди вокруг бежали, и рты у них были открыты так, как будто они кричали. Но Нина не слышала криков. А еще через несколько мгновений поняла, что и сама кричит. И только потом услышала свой крик. А там и все остальные крики. Люди кричали на бегу. Нина видела женщину, которая тащила за руки двоих детей лет пяти-шести. Видела старуху, которая залезла в трамвай и костылем махала вагоновожа-

той, чтобы скорее ехать. Почему-то некоторых людей Нина видела отчетливо, а некоторых – только как мелькающие тени.

И тут опять кто-то сильный словно бы отвесил Нине по ушам сразу две затрешины. И опять полыхнуло. На этот раз глаза у Нины не зажмурились, а, наоборот, распахнулись. И она видела, куда попал снаряд. Он попал в трамвай. И эта старуха с костылем на подножке мгновенно скорячилась, как корячится бумага в огне. Трамвай разлетелся в щепки, и эти щепки разложились вверх горящим снопом. А железные части трамвая вывернуло и выгнуло вверх, так что трамвай стал похож на дерево. Это железное дерево снялось с трамвайных путей и, ломая ограду, перепрыгнуло в парк, где ему и место, к другим деревьям.

А женщина, которая тащила детей за руки по Сытной площади, теперь лежала у стены и накрывала детей своим телом. Она подгребала детей под себя руками, как будто плыла. Только у нее не было ног. Оторвало по щиколотки. Нина пыталась найти взглядом разбросанные по площади ботинки этой женщины и думала, что ноги остались там, в ботинках. А кровь, которою намочили у этой женщины рейтузы, была серой. Или Нина больше не различала цветов.

Были еще разрывы. Только они уже не пугали Нину, как те два первых. Нина лежала тихо на тротуаре, смотрела на женщину, и думала, что женщина ранена, а ведь для того и создавался комсомольский отряд ПВО, чтобы помогать раненым. Только Нина все равно не могла встать. Какие-то люди бежали по площади, как тени. А Нина лежала и смотрела.

И она видела, как к этой женщине подбежал, пригибаясь, красный командир в длинной шинели, опустился на колени, распахнул шинель. И, видимо, разорвал что-то у себя под шинелью. Гимнастерку? Портупею? Нина не видела, командир был к ней почти спиной. Нина видела только, как этот командир наложил раненой женщине на ноги два жгута. А потом поднялся и, все так же пригибаясь, побежал в сторону Сытнинской улицы. На детей он даже и не взглянул.

Когда обстрел закончился или наступила какая-то пауза в обстреле, Нина встала, пересекла площадь и подошла к этой женщине, которая накрывала собой детей. Женщина была мертва. Дети были живы. Даже не ранены. Контужены и напуганы. Они пытались кричать, но только беззвучно раскрывали рты. Нина достала из сумки шприц и ампулу. И уколола детям прямо через одежду. Мальчику и девочке. Она не понимала, какое лекарство колет, что там в этой ампуле. И кто эти люди, которые взяли детей на руки, Нина тоже не понимала. И куда понесли? Нина поднялась, попыталась идти за ними. Но отстала и потеряла их, не знала, в какую улицу они свернули, Ленина или Кронверкскую. Тогда Нина подумала, что надо вернуться на площадь к той мертвой женщине. Вернулась, но женщины там уже не было. Нина подумала, что тело, наверное, унесли комсомольцы из их отряда противовоздушной обороны. И решила найти ботинки. Нашла один, подняла. Он был полон крови и грязи. Нину вырвало, и она упала, потеряв сознание.

– Что вы, миленький? – Надежда Викентиевна взяла Нину под руку. – Ранены?

Нина огляделась. Некоторое время не понимала, где она, а понимала только, что ее трясет от холодного ветра. Потом догадалась, что идет по улице Рентгена. Как она добралась сюда от Сытной площади, Нина не помнила. Откуда взялась рядом профессор Ильмъяр, не знала.

Они пошли молча. До клиники было совсем недалеко, но профессор не повела Нину в клинику, а повела на Большой проспект. В тот маленький его отрезок, что между площадью Льва Толстого и речкой Карповкой. Эту часть проспекта профессор называла аппендикс.

Аппендикс был перерыт противотанковыми траншеями. Эркер уголовного дома наскоро был укреплен кирпичом и вертикально поставленными, втиснутыми в цемент трамвайными рельсами. Там была оборудована долговременная огневая точка на случай уличных боев,

про огневую точку эту даже Нина понимала, что первый танковый выстрел разнесет ее в черепки, как молочную крынку. Во многих окнах не было стекол. Окна были зафанерены, фанера была заклеена плакатами, изображавшими женщину с мертвой девочкой на руках. На этих плакатах был лозунг – «Смерть детоубийцам». Плакаты были мокрые, и ветер их рвал.

Поравнявшись с аркой во втором или третьем доме от площади Льва Толстого, профессор свернула туда. У каменного орла, венчавшего дом напротив, отломана была голова, висела на арматуре, как свернуты бывают набок головы у битой птицы. Нина подумала, что не вспомнит уже, когда последний раз ела курятину.

Они прошли серым двором-колодцем. Однорукий дворник, рубивший в углу дрова, поздоровался с Надеждой Викентиевной. Чурбаки у него были навалены кучей, колотые дрова он складывал посреди двора в поленницу, так что получался дровяной лабиринт.

Дверь в парадную была красивой, дубовой, но висела на одной петле и открывалась, скрежеща по камню. Лестница была грязной, но между ступенями вбиты были медные штыри и лежали между ними медные багеты, когда-то прижимавшие ковер. Лифт не работал. Женщины поднимались медленно на седьмой этаж, когда на улице облака вдруг расступились, выглянуло солнце и осветило витражи. Вся лестница снизу доверху забрана была витражами, и взрывы пока не выбили витражей, видно, они были прочнее, чем стекла. Синие, желтые, красные, зеленые пятна раскинулись по стенам и по ступеням, раскрасили даже руку Надежды Викентиевны, опирающуюся о перила, и стало празднично. Как в Рождество. Единственное Рождество, которое Нина помнила, – 1917 года. Ей тогда не было и двух лет. Елка, игрушки, свечи, подарки, конфеты, золотые орешки – все это не сохранилось в детской памяти, а остались только веселые, пляшущие, разноцветные пятна.

– Ну, заходите, миленький, заходите. – Надежда Викентиевна втащила Нину в квартиру. – Долой это все! Раздевайтесь совсем прямо в прихожей. Не смущайтесь, одна живу, в квартире никого нет.

И с этими словами принялась раздевать. Как ребенка. Сняла сумку с медикаментами. Сняла сумку с противогазом. Сняла ремень с притороченным к нему финским ножом. Сняла бушлат, кофту, гимнастерку, боты, юбку, чулки, рубашку...

– Пойдемте, пойдемте, колонка еще теплая...

Нина шла босиком, и по дубовому паркету приятно было идти.

В квартире была ванна. Чистая и с дровяной колонкой. Нина, стесняясь своей наготы, стала в ванну на колени, а Надежда Викентиевна поставила перед нею таз, набирала в ковш теплую воду и поливала Нине на голову. Голове было тепло, спине холодно.

Дважды профессор намылила Нине волосы и дважды смыла. От ее прикосновений Нинина голова зазвенела приятно так, как звенела в детстве, если сидишь в углу и слушаешь разговоры или наблюдаешь за работой взрослых. А когда Нина откинула мытые волосы, когда открыла глаза, ей захотелось вдруг скривить рот и разреваться. Как в детстве. Таким ревом, за который мама жалела ее, а отец отвешивал подзатыльник. Разреваться про все: про то, что она одна, про то, что устала, про то, что хочется есть, что мама в могиле, муж на войне, про то, что холодно, что бомбят, что испачкалась одежда, про черный женский ботик, полный крови и с человеческой ногой внутри, про трамвай, превратившийся в дерево, про старуху, скоряченную огнем... Мамаааа! Мамочкаааа!

– Ну, ладно, ладно... Держите лучше мыло, миленький. – Надежда Викентиевна сунула Нине в руку дегтярный обмылок, поцеловала Нину в висок и принялась мылить ее суровой мочалкой.

Через четверть часа Нина вышла из ванной чистая и во всем чистом. На ней была холстинковая рубашка, плед, кавалеристские шаровары и теплые гамаши. Нижнего белья,

правда, Надежда Викентиевна не смогла Нине подобрать. Ничто профессорское не подошло бы на Нинину полную грудь и широкие бедра.

Воду не сливали. Водопровод у Надежды Викентиевны каким-то чудом еще работал, но лилось тоненькой струйкой. В оставшейся от мытья воде разумно же было устроить стирку.

– Все дезинфицировать, все! – Надежда Викентиевна подняла с пола бушлат, встряхнула и взмахнула над ним средством дезинфекции, одежной щеткой.

– Осторожней, там часы в кармане, – вспомнила Нина.

Профессор достала часы, открыла крышку, покачала головой и молча положила часы на стул. Собрала Нинины вещи, понесла замачивать.

Потом они кипятили чай. Заваривали. Слабенький, но запах все равно был такой, как будто кто-то зовет издали-издали, из детства. Надежда Викентиевна достала немного хлеба. Даже кусочек солонины, на запах которой пришел в кухню бульдог, ужасно исхудавший, с понурой головой, огромной по сравнению с тощим телом.

– Ой, как же вы его кормите? – спросила Нина.

– Да в основном книгами. У Степана дворника есть то ли кум, то ли сват, то ли такая же тать, как сам Степан, бригадир продуктового обоза. Раз в неделю они списывают лошадь, дескать, пала под обстрелом. Фунт соленой конины он, разбойник, меняет мне на десяток приключенческих книг. Гюго уже забрал, Мопассана, Бальзака, Дюма... Не знаю, зачем ему книги, но романы он уж все у меня перетаскал, принялся за поэзию...

Нина понесла чай в комнату и огляделась. Все стены гостиной, которая одновременно служила и кабинетом, действительно уставлены были книгами, но в книжных шкафах действительно зияли пустоты, вероятно, на месте Бальзака и Дюма. Большинство книг были медицинские, на латыни и на немецком. Но и художественных много, особенно стихов: «Колчан», «Пепел», «Кипарисовый ларец», «Версты», «Четки» – буржуазные издания и даже, насколько Нина понимала, контрреволюционные.

Они пили чай. Нина ела. Профессор спрашивала про обстрел. В основном в медицинских терминах. Так, чтобы и отвечать получалось в основном холодно и по-деловому. Хвалила за камфору, которую Нина догадалась уколоть детям той убитой женщины, хотя лучше было напоить чем-нибудь седативным. И вдруг спросила:

– Откуда у вас эти часы?

– Трофейные, муж принес с Финской. – Нина сначала ответила, а потом только поняла, что атмосфера их чаепития изменилась, стала не то что враждебной, но какой-то печальной.

Надежда Викентиевна встала. Медленно пошла в прихожую, вернулась с часами, раскрыла их, показала Нине. Нина и не знала, что изнутри на крышке выгравированы были два слова «vita brevis». Потом профессор достала из жилетного кармана свои часы, точно такие же с точно такой же гравировкой.

– Хотите еще чаю, миленький? – Тяжело опустилась за стол. – В одна тысяча девятьсот четырнадцатом году, миленький, Евгений Сергеевич Боткин повез меня представляться императрице...

У Нины закружилась голова. Имя Боткин звучало для нее примерно как Гиппократ или Авиценна. 1914 год – это же до революции. Представляться императрице... Какая императрица? Жена Николая Кровавого? Свергнутая и пущенная в расход где-то на Урале? Где на Урале?

– Какая императрица? – прошептала Нина на вдохе.

– Обыкновенная императрица. Александра Федоровна. Она была попечительницей госпиталя для раненых в Царском Селе, искала хороших хирургов. Евгений Сергеевич повез представлять меня, но я опоздала к нему, ненадолго, минуты на три. И все вот это... аудиенция, экзамен... прошло гладко. Но спустя несколько дней Боткин подарил мне часы, мяг-

кий, но безусловный намек на то, что не следует опаздывать. При малейшей непунктуальности, но только любимым ученикам Боткин дарил часы с гравировкой «vita brevis». И я своим ученикам стала дарить. Получилось что-то вроде братства, медицинский орден, нас звали витабревисами. Строго говоря, я бы и вам должна была подарить такие часы, но где же теперь найдешь часы? Впрочем, у вас они есть. Ваш муж...

Тут только до Нины дошло:

– Вы хотите сказать, что мой муж на Финской убил кого-то из ваших учеников?

– Нет, отчего же... Мне даже и в голову не пришло. Хотя... – Профессор помолчала минуту. – Нет, я думала, что ваш муж оперировал кого-то из витабревисов, воевавших на финской стороне, не смог спасти и взял часы на память...

– Оперировал врага?! – захлебнулась Нина.

Профессор Ильмъяр молчала.

– То есть вот фашистский самолет упал в парке Первой пятилетки, вы бы что, стали оперировать летчика?

– Разумеется, миленький. Стала бы оперировать. И вы бы стали. Вы же врач, витабревис.

Профессор поднялась легко, собрала со стола посуду, направилась на кухню, кажется, даже напевая что-то вполголоса.

– Я помогу! – крикнула Нина вслед.

Но пребывание в этом доме стало для Нины тягостным. Нина так и не дождалась, пока высохнет ее одежда. Дождалась воздушной тревоги. Засобиравшись в бомбоубежище, куда профессор Ильмъяр даже и не думала спускаться. Пообещала назавтра обязательно отдать одежду... Профессор улыбнулась:

– Бог с вами, миленький.

И Нина с мокрой своей одеждой, увязанной в узелок, вышла вон из этого странного дома, где все еще работает водопровод, все еще жива собака, все еще стоят на полках стихи, изданные до революции и... Боткин! Царица! Оперировать фашистов! Как это все?

С того дня для Нины началось «смертное время». Наутро она проснулась в своей холодной комнате под двумя одеялами и бушлатом, оделась, поплелась на работу и лишь по дороге вспомнила, что не нужно бы ходить туда, где профессор того и гляди заставит оперировать фашиста. Но хлеба не было. Даже для врачей, которые питались наравне с рабочими, норма хлеба была снижена до 250 граммов в день. И не достать было этого хлеба. Люди занимали очередь к булочным затемно, старались даже до истечения комендантского часа. И вот у Нины был выбор – идти ли затемно на работу, где хлеб и чай будут почти сразу, или вставать в очередь, где, может быть, и не достоинься... Пока Нина размышляла обо всем этом, доковыляла уж и до клиники. И так каждое утро – сначала думала про хлеб, а потом уже вспоминала о разногласиях своих с профессором Ильмъяр.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.